

Николай Лесков

Пигмей



Николай Семёнович Лесков

Пигмей

Серия «Праведники», книга 2

*Текст предоставлен издательством
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=174926*

Аннотация

«Расскажу вам одно истинное событие, о котором недавно вспомнили в одном скромном кружке, по поводу замечаемого нынче чрезмерного усиления в нашем обществе холодного и бесстрастного эгоизма и безучастия. Некоторым из собеседников казалось, что будто прежде так не было, – им сдавалось, будто еще и в недавнее время сердца были немножко потеплее и души поучастливее, и один из собеседников, мой земляк, пожилой и весьма почтенный человек...»

Содержание

Глава первая	6
Глава вторая	10
Глава третья	13
Глава четвертая	17
Глава пятая	20
Глава шестая	22
Глава седьмая	27

Николай Лесков

Пигмей

Расскажу вам одно истинное событие, о котором недавно вспомнили в одном скромном кружке, по поводу замечаемого нынче чрезмерного усиления в нашем обществе холодного и бесстрастного эгоизма и безучастия. Некоторым из собеседников казалось, что будто прежде так не было, – им сдавалось, будто еще и в недавнее время сердца были немножко потеплее и души поучастливее, и один из собеседников, мой земляк, пожилой и весьма почтенный человек, сказал нам:

– Да вот как, господа: я сейчас еще знаю у нас в губернии одного старичка, самого мелкопоместного дворянина, настоящего пигмея, который никогда в жизни не играл никакой значительной роли, а между тем он, живучи здесь в Петербурге, по одному благородному побуждению, сделал раз такое дело, что этому даже, пожалуй, и поверить трудно. И если я вам это расскажу, так вы увидите, что может сделать для ближнего самый маленький человек, когда он серьезно *захочет* помочь ему; – наше нынешнее горе в том, что никто ничего не хочет сделать для человека, если не чаёт от этого себе выгоды.

И рассказчик сообщил нам следующее.

Глава первая

Мелкопоместный дворянин, о котором я говорю, назывался С***, он еще здравствует и доживает свой век в своем маленьком хуторочке в К. уезде. Прежде чем состариться, он служил здесь в Петербурге в ведомстве с. – петербургской полиции и на самом ничтожном месте: на обязанности его лежало распоряжаться исполнением публичных телесных наказаний. В то сравнительно весьма недавнее время у нас на святой Руси людей непривилегированного класса секли плетями и клеймили. За свою долговременную службу нынешний старичок С., разумеется, «привел в исполнение» этих наказаний такое бесчисленное множество, что совершенно привык к такому неприятному занятию и распоряжался этим холодно и бестрепетно, как самым обыкновенным служебным делом. Но вот раз с ним случилось такое событие, что он сам себе изменил и, по собственным его словам, «вместо того, чтобы благоразумно долг свой исполнить – наделал глупостей».

Событие это произошло в 1853 г., когда русские отношения к Франции были очень натянуты и в столице сильно уже поговаривали о возможности решительного разрыва. В это время раз чиновнику С. передают

«для исполнения» бумагу о наказании плетьюми, через палача, молодого француза N, осужденного к этому за самый гадкий поступок над малолетней девочкой. Я не назову вам этого француза, потому что он жив и довольно известен; а как его имя берегла от оглашения скромность «пигмея», то и я не великан, чтобы его выдать.

– Прочел, – говорит С., – я эту бумагу, пометил, и что же еще тут долго думать: отшлепаем молодца яко старца, да и дело с концом; и я дал в порядке приказ подрядчику, чтобы завтра эшафот на площади сладить, а сам велел привести арестанта, чтобы посмотреть на него: здоров ли он и можно ли его безопасно подвергнуть этой процедуре.

Приводят человека такого тщедушного, дохлого; бледный, плачет, дрожит и руки ломает, а сам все жалостно лепечет.

– Ах ты, думаю, господи боже мой: надо же было ему, этакому французскому поганцу, сюда заехать и такое пакостное дело здесь учинить, чтобы мы его тут на свой фасон как сидорову козу лупили.

И вдруг жаль мне его стало.

– Что, говорю, ты это себе наделал! Как ты дерзнул на бедное дитя покуситься...

А он падает в ноги, ручонки в кандалах к небу поднимает, гремит цепями и плачет.

– Мусье, мусье! Небо видит...

– Что, говорю: «Небо»! нечего теперь, братец, землю обесчестивши, на небо топыриться, – готовься: завтра экзекуция, – что заслужил, то и примешь.

– Я, говорит, занапрасно (он, три года в остроге сидя, таки подучился немножко по-русски).

– Ну, уже это, говорю, мон ами, врешь, – занапрасно бы у нас тебя не присудили: суд знает, за что карает.

– Ей-богу, говорит, занапрасно... вот бог, дье, дье меня убей... и тому подобное, и так горько, так горько бедный плачет, что всего меня встревожил. Много я в своей жизни всяких слез перед казнью видел, но а таких жарких, горючих да дробных слез, право, не видал. Так вот и видно, что их напраслина жмет...

– Ну, а мне-то, скажите, – что же я, пигмей, могу ему сделать? – мое дело одно, что надо его отпороть, заклеить, да сослать «во исполнение решения», вот и все, и толковать тут не о чем. И я кивнул часовым, чтобы взяли его, потому что для чего же мне его держать, – и самому тревожиться, и его напрасно волновать раньше времени.

– Ведите, говорю, его назад в тюрьму.

Но он, как услышал это, так обхватил мою ногу руками и замер: а слезы или лицо это у него такое горячее, что даже сквозь сапог мою ногу жжет.

– Тьфу, провались ты совсем, думаю, вот на горе

свое я с ним разговорился: и никак его с ноги стряхнуть не могу; а самому мне в ухо вдруг что-то шептать начало: «расспроси его, расспроси, послушай, да заступись».

– Ну, чего тут, помилуйте, заступаться мне, ничтожному исполнительному чиновнику, когда дело уголовным судом решено и уже и подрядчику, и смотрителю насчет палача приказ дан. Какие тут заступничества? А оно, это что-то незримое, знай все свое в ухо шепчет: «расспроси, заступись».

Я и соблазнился: заступаться, думаю, я хоть и не буду, а расспросить, пожалуй, расспрошу.

– Валяй, говорю, рассказывай по всей истине, как дело было! Да только смотри – не ври.

Глава вторая

Он мне, сколько ему позволяли слезы и рыдания, рассказал, что жил он на Морской у парикмахера; туда ходила к ним, к стригачам, от прачки девочка, двенадцати – не то тринадцати лет, – очень хорошенькая. И говорит, что она не то на его сестренку или, как там по-ихнему, на кузинку его какую, что ли, очень похожа была. Ну, а он, это, знаете, как француз... ну, разумеется, со вкусом тоже и фантазией: нравится ему дитя, – он ей нынче бантик, завтра апельсинчик, после рубль, или полтинничек, бомбошки – все баловал ее. Говорит, без всякой будто цели; а мать-то ее пройдоха была: зазвала его к себе да с девчонкою их и заперла, а девчонку научила ему рожу расцарапать, да кричать, будто ее страшно обидеть хотел. Сбежался народ, акт составили, в тюрьму, – в тюрьме три года продержали и к плетям, да к ссылке присудили.

Выслушал я все это, и все мне показалось это так, как он рассказал, и обратил я внимание на его рубец, что эта девочка ему на носу сделала: глубокий рубец, – зажил, но побелелый шрам так и остался. Пре-странный шрам: точно нарочно рассчитано, на каком месте его отметить. По большей части это никогда так не бывает: по большей части женщина в таких случа-

ях прямо в глаза, а еще больше в щеки цапает, – потому она, когда ее одолевают, руками со сторон к лицу взмахивает; а это как-то по-кошачьи, прямо в середину, как раз по носу и к губе пущено...

Думаю, чего доброго, бог знает, ведь есть такие проходимки; в полиции как послужишь, так ведь на каких негодяев не насмотришься, и говорю ему, – это вам даже смешно должно показаться, – говорю:

– Ну, хорошо, мусье: если все это так, как ты мне сказал, – то, может быть, бог напраслины не допустит: – молись и надейся.

Он руки у меня расцеловал и забрякал цепями, пошел, а я остался на своем месте и думаю себе: вот и два дурака вместе собрались. Первый он, что меня за пророка почел, а другой я, что ему напрасную надежду подал.

А во лбу так-таки вот и стоит, что это напраслина и ужасная напраслина, и между тем вот мы завтра его бить будем и это его щуплое французское тельце будет на деревянной кобыле ежиться, кровью обливаться и будет он визжать, как живой поросенок на вертеле... Ах, ты, лихо бы тебя било, да не я бы на это смотрел! Не могу; просто так за него растревожился, что не могу самой пустой бумажонки на столе распределить.

Подозвал младшего чиновника и говорю:

– Сделайте тут, что нужно, а у меня очень голова разболелась, – я домой пойду.

Пришел домой, ходил-ходил, ругался-ругался со всеми, и с женою, и с прислугою – не могу успокоиться да и баста! Стоит у меня француз перед глазами и никак его не выпихнешь.

Жена уговаривает, «что ты, да что с тобою»? – потому что я никогда такой не был, а я еще хуже томлюсь.

Подали обедать; я сел, но сейчас же опять вскочил, не могу да и только. Жаль француза, да и конец.

Не выдержал и, чтобы не видали домашние, как я мучусь, схватил шляпу и побежал из дома, и вот с этих-то пор я уже словно не сам собою управлял, а начало мною орудовать какое-то вдохновение: *я задумал измену.*

Глава третья

Вышел я и прямо к приставу, у которого это происшествие было; спрашиваю: как это все тогда, три года назад, происходило и что за баба мать этой девочки.

Пристав говорит:

– Черт их знает, – это дело еще не при мне было, а баба, мать этой девочки, – большая негодяйка, и она, говорит, с своею дочкою еще после того не раз такую же историю подводила. А впрочем, говорит, кто их разберет: кто прав, кто виноват.

Ну, довольно, думаю, с меня: мы с тобою, брат, этого не разберем, а бог разберет, да с этим прямо в Коношенную, на каретную биржу: договорил себе карету глубокую, четвероместную, в каких больных возят, и велел как можно скорее гнать в Измайловский полк, к одному приятелю, который был семейный и при детях держал гувернера француза. Этот француз давно в России жил и по-русски понимал все, как надо.

Прикатил я к приятелю и говорю:

– Дай, говорю, голубчик, мне на подержание своего французишку, что у тебя служит: он мне нужен.

– Зачем тебе? – спрашивает.

– Так, говорю, нужен он мне, – на самое короткое время, – всего часа на два.

И говорю это, знаете, так, что приятель мой легко мог заметить, что я не спокоен, потому что задыхаюсь, тороплюсь и волнуюсь, и чем это больше скрыть хочу, тем больше себя, к досаде своей, высказываю и ввожу его насчет себя в сомнение, а тем у него, разумеется, еще больше вопросы вызываю: «что ты, да на что тебе?»

Насилу нашелся увернуться от его долгих расспросов, сказавши, что будто бы встревожен оттого, что получил известие о болезни брата, и не могу удержаться, хочу съездить к французенке гадалке на ленорманских картах погадать: выздоровеет ли мой брат или умрет? ну, а как сам я по-французски не ма-ракую, то... и прочее, и прочее, и прочее.

Не знаю: поверил ли мне приятель или не поверил, но только расспрашивать больше не стал и француза мне отпустил; а я, взявши того, сейчас же опять с ним в карету и говорю:

– Ну, слушай, мусье: знаешь ли ты, по какому делу я тебя взял?

А тот, смотрю, глядит на меня и бледнеет, потому, знаете: наша полицейская служба к нам вольнолюбивых людей не располагает. Особенно в тогдашнее время, для француза я мог быть очень неприятен, так как, напоминаю вам, тогда наши русские отношения с Францией сильно уже портились и у, нас по поли-

ции часто секретные распоряжения были за разными людьми их нации постороже присматривать.

– Что ты это, кажется, – говорю: – сробел? А уже его и лихорадка колотит.

– Помилуйте, – отвечает: – я ни в чем не виноват!

– Да, дуй тебя горою: кто тебе говорит, что ты в чем-нибудь виноват! Тут я, братец, во всем виноват, потому что я *изменник*: я в такое время вмешиваюсь в дело, куда мне совсем и носа совать не следует; ну, да некуда податься, видно богу так угодно, чтобы я сюда сунулся. И, вообразите себе, я, действительно, в то время так чувствовал, что *это богу угодно* совершить то, что я делаю. Разумеется, самомнение.

– Слушай же, – говорю: – так и так, вот в чем дело: вот что с одним твоим компатриотом случилось и что ему завтра неотразимо угрожает – плети, а я его от этого намерен избавить.

Спутник мой и рот разинул: он хоть и иностранец был, но давно, как я вам сказал, у нас в России живши, имел о наших порядках понятие и потому, конечно, мог разве за сумасшествие принять, что маленький полицейский исполнительный чиновник вызывается отменить судебное уголовное решение, утвержденное высшею властью. Но я ему говорю:

– Я тебя прошу, любезный друг, на меня открытым ртом не зевать и не ахать, а послужить богу в этом

деле, для чего я тебя и взял: знаешь ли ты, куда я тебя теперь везу?

– Не знаю, – говорит.

– Ну, так вот знай, вот сейчас мы остановимся у вашего посольства; мне туда заходить никак нельзя, потому что я полицейский чиновник и нам законом запрещено в посольские дома вступать, а ты войди, и как ваши послы столь просты, что своих соотечественников во всякое время принимают, то добейся, чтобы тебя герцог сейчас принял,¹ и все ему расскажи. А я, тем временем, здесь в карете сидеть буду – тебя дожидаться, и если посол скажет, чтобы меня позвать, ну, ты тогда пришли за мной, и я явлюсь и все подтверждаю; но, может быть, он и так поверит и сам узнает, что ему надо сделать.

Подъехали мы к посольскому дому, остановились; француз мой вылез и за зеркальные двери в подъезд ушел, а я велел извозчику подальше немножко отъехать и забился в уголок кареты – и жду. И тут вдруг я сообразил всю свою измену и меня начала лихорадка бить...

¹ В Петербурге в это время французским послом и полномочным министром находился, кажется, *герцог де-Гиш*, который заступил с 10-го (22-го) августа 1853 г. барона Бюринью де-Варень, бывшего поверенного по делам.

Глава четвертая

Вдруг, знаете, сразу мне все ясно представилось: за какое я непосильное дело взялся, и это... полицейский-то я чиновник, и как будто на свое правительство... жалуюсь... да еще иностранному послу, да еще французскому, и в такое политическое время... Эх, скверно! изменник я, чистый изменник! И что больше думаю, то все хуже выходит... Эх, как скверно! А французика моего все нет как нет, из-за этих зеркальных дверей, а мне видно, как по той стороне улицы, по противоположному тротуару, все квартальный ходит... Думаю себе: недаром же он тут прогуливается... И, ведь поди, на мой грех, может быть, еще этакий... из внимательных, орденок, гляди, хочет выслужить и стоит, теперь, пожалуй, да соображает, что, мол, это за карета к посольскому дому подъехала? нет ли тут чего? да возьмет, вор, и заглянет в окно; а я вот тут и есть! Узнает, бездельник, потому что меня по полиции все знали, и скажет: «А-а, милостивый государь, так вы изменять!» да сейчас донесет по начальству; и поминай как звали... И дома не побываешь, а прямо через Троицкий мост, да в Петропавловскую крепость, а там для нас, изменников, обители многие суть... Страх такой обнял, что лежу в углу кареты, как

мокрый пес колечком свернувшись, а сам так же, как пес на холоду, и дрожу, и уже ругательски себя ругаю, что заварил этакую крутую кашу... И все, знаете, одним глазком поглядываю из окошечка на кварталного, который насупротив гуляет, а сам все книзу, да книзу с сиденья на пол кареты спускаюсь, и норовлю, чтобы пятками дверцу оттолкнуть, да по низку стрекача дать, благо – я тут вблизи пролетный двор знал – и искать бы меня негде было.

Так я и устроил: в карете на сиденье положил два целкювых, что за экипаж следовало, а сам открыл дверцу – и только задом-то выполз и ступил на мостовую, как вдруг слышу: «б-гись!», и мимо самой моей спины пролетела пара вороных лошадей в коляске и прямо к подъезду, и я вижу – французский посол в мундире и во всех орденах скоро сел и поскакал, а возле меня как из земли вырос этот мой посол-француз, тоже очень взволнован, и говорит:

– Зачем, – говорит, – вы вылезли?

А я от нечистой совести так перепугался, что одурел, и давай врать:

– Что такое, – говорю, – вам нужно? Я вас вовсе не знаю и ниоткуда я не вылезал.

– А видели вы?

– Да что такое, – говорю, – видеть? – отстаньте вы от меня: ничего я не видал.

– Герцог-то наш, – говорит, – уже поехал.

– Да какое мне дело до вашего герцога... что вы ко мне приклеились?

– Как, – говорит, – какое дело: да вы знаете ли, куда он отправился?

– Ничего, ровно ничего я не знаю, и знать мне зачем, а вы если от меня не уйдете, так я сейчас полицейского кликну.

Он смотрит на меня, что я так странен, должно быть, ему в своих речах показался, и шепчет:

– Герцог в Зимний дворец поехал.

– Да отойдите же, – говорю: – вы от меня: – я вам сказал, что я ничего не знаю; и с этим отпихнул его, да скорее через знакомый пролетный двор, да домой к птенцам, чтобы, пока еще время есть, хоть раз их к своему сердцу прижать. И не успел этим распорядиться, как вдруг нарочный, с запиской от генерала, чтобы завтра наказание такого-то француза отменить.

Батюшки мои, думаю, как заиграло.

Глава пятая

Я только язык прикусил, да поскорее написал всем кому надо отмену церемонии и всю ночь потом не ложился, а все ходил в этакое в самом странном каком-то состоянии. Еще сам себе не отдавал отчета: как это я сделал и что из этого дальше выйдет? А и страшно, и словно благодать какая в душе. Думаю, конечно, и о том: не попадусь ли я тут сам каким-нибудь манером и чего буду за мою измену удостоен, но и за беднягу французишку нарадоваться не могу. И только насилу перед самым утром, с этими нелегкими мыслями, у себя в кабинете в кресле задремал, как вдруг слышу в передней возле двери шум и пререкание, жена кого-то упрашивает повременить, говорит, что я только сейчас заснул; а тот, чужой голос, настаивает, чтобы тотчас разбудить и точно как будто имя государя мне послышалось. Сейчас мне припомнилась моя измена, и сразу вся моя дрема прошла.

Бросился я, как был, в халате к двери, смотрю – курьер стоит с этакую солидную рожею, каких нарочно по осторожным делам посылают, и подает мне молча пакет.

Я, знаете, и пакет беру, и руки-то ходенем ходят, насилу разломил печать и вижу белый лист, а на нем по-

середине всего одно слово выведено «*благодарю*», а в середине деньги... Сосчитал – как раз полторы тысячи рублей денег.

Ведь не поймешь этого ничего как-то в первую минуту: что это и от кого, и потому не знаешь, к кому в таком затруднении готов за объяснениями обратиться. Так и я курьера-то этого хочу спросить, а его уже след простыл... Ну, тут я на пакет то этот глянул, чьей рукою имя-то мое написано и «*благодарю-то*» это священное для меня выведено, и вспомнил, чей это почерк... да уж зато тут-то уже я себе и дал волю: то есть, этак, я вам говорю, я дурацки ревел, этак я сладко вырыдался, что мое вам почтение... Два раза во всю мою жизнь потом только этак и плакал: во второй это было, как император Николай Павлович умер, и я ему к его гробу ночью свое «*благодарю*» ходил сказывать за то, про что мы с *ним* двое только из всех русских знали: он, мой царь, да я, – его изменник. И еще после я в третий раз так же плакал, по иному случаю, из этой же, впрочем, истории вытекшему.

Глава шестая

Этого французика мы так совсем плетями и не секли, а велено было его просто выслать вон из России с подпискою, чтобы никогда в пределы оной возвращаться не смел. Ну, да где уж ему, дураку, было желать сюда возвращаться, да и незачем – он дивным образом очень богат сделался в Париже. А я эти полторы тысячи-то, которые мне как с неба упали, припрятал себе на лечение и из них в несколько лет к отставке моей из полуторы две или даже немножко более стало, я и поехал в Виши водами от своего сиденья полечиться... Наполеон там еще императорствовал, ну, и все это еще у них тогда по-старому было; а на обратном пути, облегчаясь, я в Париж завернул: посмотреть там, что поинтереснее, да домой своим дамкам, знаете, какой-нибудь галантерейщины и парфюмерии прихватить. У нас, я слыхал, в Петербурге все Пино, парижского парфюмера, предпочитают, и говорю своему проводнику:

– Сведите-ка меня, батюшка, к Пино, душков да помадки у него какие получше набрать. А проводник мне возражает:

- Зачем же, – говорит: – вам к Пино ехать?
- Да ведь он, – говорю: – самый лучший.

– Помилуйте, – отвечает: – это бог знает, как давно было, что он лучшим считался, а теперь не Пино, а другой парфюмер здесь всех лучше, и назвал мне, знаете, фамилию, которая так меня сразу чем-то знакомим по уху и щелкнула.

– Как, – говорю: – вы его называете?

Тот повторил.

– Ах, батюшки мои, – вспомнил я себе: – да ведь это чуть ли и мой давнишний крестник тоже так назывался! и спрашиваю:

– Не был ли этот ваш знаменитый парфюмер когда-нибудь в России?

– Как же, – говорит: – был, только он в 1853 г. – перед крымскою кампанией, за политические вмешательства оттуда выслан из Петербурга.

– Гм, знаю, мол, я эту политику.

– Ну, а все-таки, – говорю, – мы уже, батюшка, лучше к Пино покупать-то поедем, а к этому не поедем.

Проводник мой меня отговаривать, но я, однако, на своем уперся.

– Нет, нет, нет, – говорю, – мне это не идет... Бог его еще знает там, как он, хорошо ли делает; мало ли кто у вас тут на короткое время в моду входит, а Пино, говорю, – это фирма старая, и он у нас славится: так уж вы меня, пожалуйста, к Пино свезите.

Избегал, разумеется, чтобы не встретиться, знае-

те... Ну, что хорошего этакое скверное, что уже прошло, опять человеку напоминать?

Но тут, должен вам сознаться в своей маленькой слабости: проводник мне начал рассказывать, как этот господин очень богат; какая у него богатая фабрика и какой щегольский магазин и живет в собственном доме, – не знаю уже, как эта улица у них называется, а только, близ самой Вандомской колонны... Я дом-то и захотел посмотреть.

– Что же, думаю: хоть не на него, так, по крайней мере, на его имущество взгляну: отчего же не взглянуть? ведь это ему ничего, – он и знать не будет. Разумеется, не хорошо, и этого не следовало, потому что суетно. Но, как хотите, ведь интересно, потому что хоть небольшое дело я ему сделал, а все же он с моих рук жить пошел.

Вот мы и поехали: проезжаем мимо, нарочно тихо – в колясочке, и вижу: дом как дворец; вывеска фабрики на три улицы; окна в магазине – хоть шестериком в них поворачивай.

– Быть, – говорю, не может, чтобы это тот самый человек!

– Нет, тот самый, что у вас из России за политику выслан.

– Да что ты, думаю, дурачок, толкуешь, много ты понимаешь меня, о чем я думаю? По-твоему это тот, а

по-моему это не тот политик, про которого я разумею.

Ну, а впрочем, что я ему стану рассказывать, какие там у моего крестника кондуиты: я только не верю, чтобы могла судьба этак играть человеком и дать вдруг, после такого унижения, такое большое богатство.

– Когда бы мне можно было на него как-нибудь взглянуть, – говорю: – вот бы это мне было очень интересно!

– Отчего же, – говорит: – это очень можно.

– Только я к нему в магазин не пойду, а нельзя ли так... где-нибудь в щелочку, чтобы он меня не видал, а я бы его видел?

– Очень можно, – говорит: – да он сам в магазин и редко приходит, и в доме-то этом теперь летом не живет.

– А где же он живет?

– У себя на даче, в Пасси.

– У него и дача, – говорю, – есть?

– Не одна, – говорит, – а две: одна этакая полулетняя, по-ихнему «демисезон», тут недалеко над Трокадеро, а другая, настоящая, в Пасси, – такой, говорит, загородный дом, что редко можно другой встретить, и он, говорит, всегда в семь часов у себя над открытым цветником, на веранде, кофе с гостями пьет, а иногда с женою и детьми в серсо играет: вот мы можем поти-

хоньку раз или два мимо пройтись, вы его и увидите.

– Что же, и отлично!

На дворе было как раз часов шесть, и я уже по-своему, по-русски, был пообедавши и проводник мой тоже накормлен, я и говорю ему:

– Да что, батюшка, далеко-то откладывать: велите-ка извозчику сейчас прямо туда ехать. Эй, ты, братец, говорю: – коше, пошел-ка, брат, в Пасси, да порезвее, на водку хорошо получишь.

Проводник перевел, – мы и поехали.

Глава седьмая

Поехали, и как путь лежал чрез Трокадеро, то мой проводник и домик мне этого моего старого знакомого показал, – важный домик, хоть бы принцу жить не стыдно; ну, а в Пасси так просто замок этакий маленький, стены каменные, высокие, все плющом заросли, и подъезд из узенького переулочка, а за решеткою виден цветник, а за цветником дом и веранда... И что же вы изволите думать: застали мы здесь все, будто по писаному, как мой проводник мне предсказал: в цветнике детки резвятся, на веранде гости сидят и хозяин... Я спрятался за угол стенки, вынул из кармана бинокль, навел на него и вижу, нет сомнения, – это он, мой крестник! Возмужал и постарел, да и отъелся, разумеется, хорошо в благополучной жизни; а у носика-то белый рубчик все-таки остался.

– Не знаете ли, батюшка, – говорю я своему проводнику: – хороший ли он муж?

– Превосходный, – говорит, человек; отлично они живут, – и жена у него чудесная, и дети добрые, и сам он добрый, и бедных людей очень помнит.

– Вот за это, – говорю, – молодец, что бедных помнит.

А в это самое время, как мы, таким образом, за уг-

лом перешептываемся, он нас, должно быть, заметил – и кричит дочке:

– Алина!

И вдруг решетчатая калиточка хлопнула и ко мне подпорхнула милая, как ангелок, девочка, в розовом платьице, и не успел опомниться, как она мне сунула в руку, франк, проговорила: «о ном де Жезю», или как там по-ихнему вроде нашего: «прими, Христа ради» и скрылась.

Я это, знаете, в пальто в своем, в русском, был и шляпа на мне мягкая пуховая и, действительно, я на бульварного воюка был похож, ну, она мне и подала за отца «Христа ради». Что же такое: я этот франк ее принял и о сю пору берегу: говорят, будто нищенское хорошо для счастья, но я не для суеверия, а так... для памяти дорожу. Ну-с, вот тут-то вот, я, как назад в свой номеришка ехал, уже сам себе изменил: опять в третий раз всю дорогу сладко-пресладко плакал. Проводник-то, я думаю, каким дураком меня считал, да и стоило. Только ведь, знаете, не удержишься, потому что, как в старинных стихах говорится:

Почувствовать добра приятство
Такое есть души богатство,
Какого Крез не собирал.

Как же за эти незаслуженные ощущения бога хоть

слезою не поблагодарить!

Впервые опубликовано – «Гражданин», 1876.